

# Андрей Дашков Андеграунд

## КОРМЛЕНИЕ ЧЕРНОЙ СОБАКИ

— Кажется, она еще жива, — сказал парень в белом плаще своей спутнице, а та брезгливо пожала плечами, и оба заторопились прочь от обочины.

Эта фраза, произнесенная почти весело, вывела его из оцепенения. Он оглянулся, чтобы посмотреть, кто это еще жив. Был поздний вечер, и то, что лежало у края дороги, показалось ему вначале кучей тряпья. Ему понадобилось увидеть удаляющиеся красные огни грузовика, чтобы время закрутилось в обратную сторону, и тогда он услышал звуки, которые могли навсегда остаться на периферии его сознания, на полностью заброшенной обочине его жизни.

Визг тормозов, глухой удар, чавкающий звук, отсутствие предсмертного крика; только ветер вздохнул тяжело и странно, а потом лизнул его волосы влажным языком. Голые ветви деревьев ответили на это глухим перестуком, и осталась тишина, в которой были слышны лишь его тихие шаги и шаги этих двоих впереди.

— Кажется, она еще жива, — сказал парень в белом плаще, остановившись напротив черного холмика на дороге, выглядевшего словно

экскременты умчавшегося грузовика (такая нелепая мысль довольно долго вертелась в его смятенном сознании).

Он проводил взглядом парочку и огляделся по сторонам. Он боялся показаться смешным. За ним водился такой грешок. На секунду ему вообще представилось, что это розыгрыш. Только парень в белом разыграл не того, кого нужно.

...Улица была пуста. Он ничем не рисковал. В худшем случае все закончится возможным минутным приступом тошноты и неприятными воспоминаниями. Но он знал, как бороться с воспоминаниями.

Он вернулся немного назад и оказался рядом с темной кучей тряпья.

Потом он поймал отражения придорожного фонаря в зрачках существа, умершего под колесами. Глаза еще блестели. Фиолетовые искры, красивые, почти завораживающие (эффект усиливал влажный воздух), вспыхивали в глубине черной бесформенной массы, и он сделал шаг к обочине.

Это была собака. Абсолютно черная, чернее провалов между звезд. Из-за вывалившегося языка чернота казалась влажной. Животное было уродливым, как смертный грех, или таким его сделала катастрофа. Во всяком случае, собака действительно была еще жива.

Он осторожно потрогал собаку носком ботинка. Ее голова дернулась, по телу прошла судорога. Он брезгливо попятился от нее и уже пожалел о том, что вообще остановился. Наутро остывший за ночь труп убрали бы, и это было бы наилучшим выходом из положения.

Он повернулся и сделал несколько шагов от дороги. Шорох, раздавшийся сзади, заставил его оглянуться.

Собака волочила за ним свое беспомощное тело, причем странным образом — так, словно у нее вообще не осталось ни одной целой кости. Теперь он увидел, что это еще щенок, большой черный щенок.

Что-то — может быть, ветер — прошептало ему на ухо одну необъяснимую вещь. Он нагнулся и стал ждать ползущую тварь на ее скорбном пути, не сделав ни шагу навстречу.

Его поразило то, что за нею не оставалось крови. Липкий, влажно блестящий след — подобной детали явно не хватало во всей этой отвратительной сцене. Но почему именно эта деталь беспокоила его сильнее всего? Он не забывал о ней и тогда, когда нес собаку домой, не чувствуя ничего, кроме опустошенности. А еще он опасался того, что испачкает свою одежду...

Потом ему захотелось рассмеяться: он не понимал себя, не понимал, зачем вообще делает

это, но какой-то червь внутри, давно и безостановочно грызущий его червь одиночества и скуки, все-таки подтолкнул его к действию...

\* \* \*

— Почему у тебя не было крови, сука? — в который раз спросил он у черной собаки, тупо глядя на миску с едой, опять отвергнутую искалеченной тварью.

Впрочем, теперь ее нельзя было назвать искалеченной. Она выздоровела удивительно быстро — в течение нескольких дней, и хотя ее походка навсегда осталась довольно странной, ей нельзя было отказать в определенной ловкости и силе. Пугающей силе.

— Почему ты ничего не ешь, сука? — задал он свой второй вопрос.

Собака прожила у него без малого месяц, но еще ни разу не ела. Он жил один и точно знал, что только он сам может кормить ее. Но из его рук она ничего не брала. Чем же, в таком случае, она питалась?..

\* \* \*

Когда собака выросла, он стал выпускать ее на ночь и порой по утрам находил на ее морде

следы крови, волос или шерсти. Ему не хотелось думать, что это останки крыс. Однако чем же еще это могло быть? Ведь он жил в самом центре большого города...

В такие дни он не мог заставить себя опустить ладонь на голову собаки, но и в другое время это не вызывало у него каких-либо приятных чувств или ощущений. Например, благодарности. Или — смешно сказать — тепла. Шерсть у собаки всегда была дьявольски холодной.

\* \* \*

Он любил ее и ненавидел. Он ходил по тонкому льду между двумя полюсами, иногда почти приближаясь к одному из них, но никогда не достигая его; поэтому его любовь никогда не бывала чистой, а ненависть никогда не позволяла полностью забытья.

Но его страх нарастал и претендовал на то, чтобы стать третьим действующим лицом в пьесе для двоих — одинокого человека и искалеченной собаки, затерянных в самом сердце города с двухмиллионным населением.

\* \* \*

Конечно, он пытался найти логическое

объяснение всем странностям, связанным с черной собакой, но потом пренебрег этим. Такое занятие было заведомо безнадежным и неблагодарным. В конце концов, чего он мог требовать от нее? Привязанности и верности, которых никогда не требовал от женщин? А как насчет любви? Это было бы слишком. Он содрогнулся от отвращения к себе.

Достаточно и того, что она отвлекала его от черных мыслей, подводивших к самоубийству. Черная собака вместо черных мыслей... Он улыбнулся. И поздравил себя с тем, что совершил удачную подмену. Почти обманул того парня, с раздвоенными копытами вместо ступней...

\* \* \*

Ему пришлось свыкнуться с новой обыденностью. Пусть странноватой, пусть слегка пугающей, но все же обыденностью — ничем не худшей, чем та, что держала его за горло на протяжении всех этих долгих никчемных лет.

Новое утро. Почти ничего не изменилось. Только кровь и подозрительные волоски снова появились на морде черной собаки.

День. Все то же самое... Опостылевшая работа. Три стареющие стервы, сидящие с ним в одной комнате. Они пили чай в три часа пополудни.

Под конец он про себя смеялся над ними. Он думал: «У меня дома своя сука. Проклятая упрямая сука, которую я ненавижу... Я нашел ее на дороге, раздавленную тяжелым грузовиком. У нее нет крови. Но она живет. Она вообще ничего не ест, во всяком случае, при мне. Но она все равно живет... Ах вы, скучные сучки, да она нравится мне в сотню раз больше, чем вы...»

Чего он действительно не мог понять, так это того, почему с таким нетерпением ждет встречи с ней? Почему так спешит домой, в свою скучную квартиру? Почему вместо прекрасных, холодных, безнадежных вечеров, которые он растрчивал на темных улицах или в дурацких барах, где на всем лежал налет почти ритуальной глупости, теперь наступили совсем другие времена?..

С некоторых пор он проводил лучшие минуты своей жизни, глядя на уродливую черную собаку или пытаясь изменить ее проклятый характер, заставить ее пойти на уступки. В такие дни его холодная ярость делала их схватки жестокими и продолжительными; постепенно он с ужасом осознал, что эти схватки становятся самым важным в его жизни.

\* \* \*

Черная собака — черный ящик. Он пытался

запустить в черный ящик свои руки, но ничего понятного ему не извлекал оттуда. Это бесило его. Такая жизнь начинала понемногу сводить с ума. Он жил с абсолютно чуждым существом, которое, видит Бог, хотел полюбить. Но все сильнее ненавидел.

Впрочем, в его ненависти было нечто театральное. Ему почти хотелось увидеть, во что она выльется. Мысль о том, чтобы избавиться от собаки, почему-то не приходила ему в голову.

\* \* \*

Она стала взрослой, но уродство и упрямство не оставили ее. У нее не было клички. Самым ласковым из ее прозвищ было «сука».

Все его соседи ненавидели черную собаку. Когда вечером она темным призраком устремлялась в одной ей ведомое странствие по городским трущобам, многие не выпускали во двор своих детей...

Ему было плевать. Одно казалось нелепым: все эти люди так любили себя, хотя не были ни на грош симпатичнее. Их ненависть вызывала у него смех. Они не имели права ненавидеть его собаку. В конце концов, это не они стояли на обочине, вглядываясь в мерцание жутких фиолетовых искр. Не они, содрогаясь от отвращения, смывали с ее



морды капли крови и клочья рыжей шерсти. Не за ними она ползла, и не им ветер прошептал на ухо одну очень странную вещь.

Но и его злоба становилась слишком сильной. Он перестал контролировать себя. Часы, нервы и собственную кровь он тратил на то, чтобы, запершись в доме, заставить собаку сделать хоть что-нибудь так, как ему хотелось. Она никогда не издавала ни звука.

На его руках теперь были незаживающие следы собачьих зубов.

\* \* \*

Он больше не выходил из дома. Какого черта?! Все решалось здесь и сейчас. Может быть, он ждал момента, когда собака нападет, и тогда у него появится повод убить ее или по крайней мере «разрядиться». Но дьявольское отродье было терпеливым, как камень...

Все чаще он просыпался по ночам от пробиравшегося в сны ощущения того, что кто-то смотрит на него. Это ощущение постепенно усиливалось, и ему удавалось выйти из сна незаметно для самого себя. Тогда он осознавал, что теперь достаточно открыть глаза — и он увидит нечто жуткое.

Конечно, это были зрачки, бросающие

фиолетовые отблески.

Он открывал глаза, и ему требовалось время, чтобы увидеть черное пятно на темном фоне ночи. Иногда ему помогал свет луны, фонарей или фар проезжавших мимо машин.

Собака часами сидела неподвижно и смотрела на него. Спящего. Чтобы убедиться в этом, достаточно было проснуться несколько раз за ночь.

Что происходило при этом в ее уродливой голове? Кто мог сказать? Уж конечно, не он.

Когда это стало повторяться каждую ночь, он обнаружил, что больше не высыпается, а единственной реакцией на ночного соглядатая стал его нервный смешок.

Однако чем меньше он спал, тем больше истязал собаку вечерами и ночами, но не мог расстаться с ней, как ребенок не может расстаться с любимой игрушкой, пока не сломает ее. Но здесь все было серьезнее и страшнее.

Избавиться от собаки означало проиграть свою последнюю игру. Возможно, опомнившись, он пошел бы на это, однако подозревал, что теперь уже слишком поздно и проклятая сука никогда не оставит его в покое...

\* \* \*

Ничто не длится целую вечность, но он

больше не мог ждать конца. Он должен был сделать хоть что-нибудь, прежде чем сойдет с ума. К тому же он знал, что люди, жившие поблизости, не предоставят ему долгой отсрочки. Когда они поймут, что он просто болен, его война с собакой будет прервана насильно. Он закончит ее в психиатрической лечебнице. Но еще никогда он не чувствовал себя более нормальным.

О, как он ненавидел звериные когти так называемого цивилизованного общества! Когти, спрятанные до тех пор, пока он калечил свою жизнь в угоду этому лицемерному божку... Но одновременно он осознавал, что его претензии к миру необоснованны, более того — смешны.

Он боялся, а может быть, и не мог жить вне клетки, дающей относительную безопасность и смехотворное благополучие. За это он ненавидел и самого себя. Презрение к себе парадоксальным образом несколько не унижало его в собственных глазах. Он словно заключил сделку с кем-то, поселившимся внутри его тела, — с тем, кого он считал своим настоящим «я». Он сказал себе: «Хорошо, парень... Ты такой, какой ты есть. Не мне ненавидеть тебя. Кто еще полюбит тебя, если не я? Я всегда на твоей стороне. Мы будем терпеть вместе...»

И он терпел.

\* \* \*

Но его терпение катастрофически истощалось.

На десятый день этого добровольного заточения одно желание поглотило его целиком. Ему во что бы то ни стало захотелось накормить свою собаку. Увидеть, как она ест, как двигаются ее челюсти, как она заглатывает пищу, увидеть ее вздувшийся живот и доказать наконец самому себе, что это вполне обычное существо.

\* \* \*

У него уже была определенная сноровка в связывании собаки. Он подкрался к ней утром, когда она выглядела относительно вялой, и закрепил цепь на ее ошейнике. Щелчок карабина придал ему решительности. Другой конец цепи он привязал к трубе отопления в ванной комнате, ограничив свободу передвижения собаки до минимума.

Долгих полчаса он тренировался в набрасывании кожаного ремня на ее морду. Ремень был превращен в самозатягивающуюся петлю, и когда ему удалось наконец сделать то, что он задумал, петля стянула челюсти собаки точно перед ее глазами, хлестнув животное по ушам. Не обращая внимания на глухое рычание, он с

удивительной ловкостью закрепил ремень на ее затылке.

Потом вышел в спальню и простыней вытер со лба липкий пот.

Веревки, которые он выбрал, оказались не слишком тонкими и не должны были глубоко врезаться в кожу. Все-таки он привык к этому животному и не хотел причинять ему чрезмерную боль. Он хотел увидеть только, как оно ест...

Он поразился невинности своего желания. Будь он просто сторонним наблюдателем, он бы рассмеялся. О это забытое им наслаждение — смотреть на вещи со стороны!

Но смеяться к тому времени он уже разучился.

\* \* \*

Связать задние лапы собаки теперь не составляло труда. Проклятая сука, конечно, упиралась, но он медленно стягивал концы веревки, пока лапы не соединились; собака тяжело упала набок. Когти ее передних лап скребли по кафелю. Она пыталась ползти, веревки натянулись, как струны, звенья цепи проворачивались с еле слышным скрипом...

Это зрелище причиняло ему почти невыносимое страдание, но он жаждал завершить начатое с фанатизмом праведника. Движения

собаки стали удивительно похожими на движения существа, у которого перебиты кости. Он сразу же вспомнил тот промозглый вечер, когда нашел ее.

Видение было настолько ярким, а воспоминание настолько тождественным реальности, что на мгновение у него потемнело в глазах от боли. Но теперь он сам был творцом чьих-то мук. Веревки врезались в тело собаки так глубоко, что почти исчезли в складках кожи, однако она все еще пыталась ползти...

Очень медленно он сделал еще одну петлю.

\* \* \*

Он связал передние лапы собаки, и та осталась лежать на боку, тяжело дыша. Между полосами ремня был виден темный влажный язык. Фиолетовые искры в зрачках вспыхивали с размеренностью метронома.

Он долго смотрел на результат своей предварительной победы, а потом отправился на кухню готовить еду...

\* \* \*

Ему понадобилось довольно много времени, чтобы найти гибкую трубку подходящего диаметра. Он приспособил для этой цели кусок садового

шланга, а из полой металлической ручки зонта сделал поршень, плотно обмотав его тряпкой.

Потом он залил в шланг полужидкую массу с отвратительным запахом, в которую тем не менее входили не самые худшие ингредиенты.

С этим орудием насилия он приблизился к обездвиженной собаке. Положил шланг на пол у стены, загнув кверху его открытый конец, и пальцами аккуратно раздвинул ее губы. Сильный звериный запах ударил ему в ноздри.

Он высвободил одну руку и вытер о брюки скользкую тягучую слюну. Глаза животного неподвижно смотрели в одну точку на стене.

Он дотянулся до шланга и ввел его открытый конец в темную щель за собачьими клыками. При этом он выплеснул на себя часть еды, предназначенной для собаки. Это уже был повод для бешенства...

Шланг входил тяжело. Было видно, как резина упруго обтекает намертво сцепленные зубы, которые человек даже не пытался разжать. Во второй раз за этот мрачный день он покрылся потом.

— Ну, давай!..

Собственный хриплый шепот почти испугал его. Раздвоение личности стало абсолютным. Номер первый говорил номеру второму, что делать. Номер второй подчинялся беспрекословно.

Номер второй глубоко ввел шланг в собачью глотку, пока рвотные судороги не стали сотрясать тело животного. Тогда он оттянул шланг назад и принялся заталкивать поршень внутрь черного резинового червя.

Под собачьей головой появилось быстро расплывающееся тошнотворное пятно.

— Ах ты, сука... Проклятая сука!.. — Он плакал от безграничной ненависти и предательской жалости, с силой проталкивая поршень дальше.

Конвульсии собачьего тела стали угрожающими. Ему показалось, что она может сдохнуть от того, что шланг повредит ей горло. Он не знал, попало ли хоть немного еды в пищевод...

К этому времени его глаза застилала багровая пелена. Реальность стала множиться. В одной из его жизней собака уже была мертва; в другой ее тело подбрасывало к звездам, словно гигантский маятник; в третьей он тонул в океане рвоты, по которому плавал темный неприступный остров собачьего тела; в четвертой еще вообще ничего не произошло...

Фонтан, ударивший откуда-то снизу, почти сшиб его с ног. Ему показалось, что он ослеп. Дико закричав от ужаса и отчаяния, он попытался вцепиться во что-нибудь руками, но повсюду его настигали удары резинового шланга, а потом подушка из рвоты облепила лицо.



Во мраке его сознания метался и сверкал, как разгневанный бог, силуэт огромной собаки. Что-то более жестокое, чем он сам, и куда более настойчивое отковыривало горящими пальцами кусочки его мозга...

Давление внутри черепа стало невыносимым, и его голова взорвалась, разлетевшись на тысячи осколков.

Наружу черной рекой излилась его ярость и потекла, блестя под звездами, по глубоким мрачным долинам безумия, между незыблемыми и недостижимыми горами раскаяния...

\* \* \*

Он медленно возвращался из небытия, и первое, что он увидел, были белеющие кости. «Вот так это и кончилось», — с облегчением подумал он. Все правильно — на поле битвы остаются лишь белеющие кости...

Ужас охватил его потом, немного позже, когда он осознал, что видит кости своих собственных ног. Кое-где на них еще остались куски розового мяса.

...Он был привязан к креслу в своем собственном доме. Ошейник стягивал его шею и мешал наклонить голову вперед. Когда он двигал ею, то слышал, как позвякивает цепь за спиной. Его

руки были крепко привязаны к подлокотникам кресла. Там, где веревки врезались в кожу, образовались мучительные кровавые рубцы.

Он боялся опустить глаза. Не было боли. Он совсем не чувствовал боли! Вот что показалось ему странным, пока он еще мог соображать.

Потом он услышал тихое чавканье.

Это был самый страшный звук, который он слышал в своей жизни.

Чавканье донеслось из темноты, и оно было багрово-розовых оттенков. Оттенков его крови и мяса.

Ужас собрался в точку и превратился в спираль тусклой красной лампы, висевшей под потолком.

К нему пришла пугающая ясность. Он понял, что его ноги съедены до бедер. Другого объяснения не существовало. Ничто, кроме зубов, не могло оставить таких следов: рваного мяса и сухожилий, повисших на костях. О том, что под ним находится лужа крови, он мог лишь догадываться в полутьме.

Но что означает стук когтей, он понял сразу.

Откуда-то из-за его спины медленно вышла черная собака. Она остановилась рядом и некоторое время неподвижно смотрела на него. Ее глаза были пустыми и ничего не выражающими — как стекла, выкрашенные фиолетовой люминесцентной краской.

— Проклятая сука... — прошептал он. Потом его вырвало.

Морда собаки была испачкана чем-то темным и липким.

Он уже знал, что это такое...

\* \* \*

Собака подошла еще ближе и начала есть его левую руку.

*Декабрь 1992 г.*

## **ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ**

Примерно раз в месяц он выводил ее на прогулку за пределы двора. Они ходили по пустынным улицам, держась как можно дальше от людей и тех мест, где она могла спрятаться от него. Но вряд ли Рита смогла бы бежать. Страх парализовал ее волю, и она всегда послушно шла рядом с ним, чувствуя леденящее душу влияние, которое исходило от ножа, спрятанного в его кармане.

В своем дворе, отгороженном от мира высокими и глухими каменными стенами, он позволял ей прогуливаться на поводке. Он сидел на

веранде в плетеном дачном кресле, читая Раджниша или Паскаля, а второй конец поводка был обмотан вокруг его запястья.

Строгий собачий ошейник с металлическими шипами впивался в нежную кожу на ее горле, едва только она делала одно неловкое движение, поэтому ей приходилось заботиться о том, чтобы поводок всегда был ослаблен. Рита медленно бродила от стены к стене внутри своей тоскливой тюрьмы, и спустя несколько месяцев после того как она стала домашним животным, у нее уже не осталось мыслей. Ее поведение определяли лишь несколько простых рефлексов и затаенное желание бежать, продиктованное инстинктом самосохранения.

Кричать внутри этого каменного мешка было бесполезно. Один раз она пыталась. Тогда ее никто не услышал, тем не менее он принял меры. Теперь каждая получасовая прогулка начиналась с того, что он выносил на веранду акустические системы и включал усилитель на полную громкость.

Обычно она гуляла под оглушительные звуки «Воя на луну» Оззи Осборна и «Крепкой руки закона» группы «Саксон», включенных одновременно, чтобы не возникало пауз между песнями. Эти пластинки она знала наизусть.

Странно, но ему громкая музыка не мешала. Вначале Рите казалось даже, что он чем-то

жертвует ради нее. Ради того, чтобы она иногда ощутила под ногами свежую траву и увидела голубое небо. Оно всегда представлялось ей пронзительно голубым. Даже если было затянуто грозowymi тучами, похожими на чудовищ. На тех чудовищ, которые приходили к ней во время ее снов...

\* \* \*

Воспоминания о прошлой жизни тревожили ее все реже. Прежде они были мучительны, и Рита доводила себя до истерики; порой ее сердце готово было разорваться от безысходности.

Потом воспоминания превратились в тупую боль, а настоящего, прошлого и знакомых лиц больше не существовало. Только размытые пятна, которые становились все меньше и все тусклее, словно удаляющиеся огни в тумане...

Она знала, как ее зовут, где и с кем она жила раньше и каким образом попала сюда, но теперь это знание было всего лишь набором символов и слов, при повторении которых не возникало зрительных образов.

Четыре года она жила в наглухо запертом доме и стала домашним животным человека, о котором не знала ничего, кроме того, что он жесток, что он *очень любит* свое домашнее животное и

что он убьет это животное, если *она* попытается бежать.

\* \* \*

В один проклятый день, затерявшийся в далеком прошлом, она ехала в машине с мужчиной, которого, наверное, любила и с которым только что провела медовый месяц. Теперь она не помнила его имени, его лица, его запаха и того, как занималась с ним любовью. Все это были мелочи, исчезающе незначительные по сравнению с кошмаром ее нынешнего существования.

Но тогда она и он были слишком заняты друг другом, чтобы обратить внимание на старый черный пикап, в течение получаса следовавший за ними по шоссе, а ведь это был призрак ее ужасного будущего. Наказания за беспечность не пришлось ждать долго.

...Их машина сбила того злосчастного велосипедиста, когда впереди уже показались одноэтажные постройки пригорода. Лицо мужчины, сидевшего за рулем, изменило свое выражение слишком поздно.

Он вывернул руль влево, одновременно начиная тормозить, но избежать столкновения было уже невозможно. А вместо одного трупа появилось два.

И еще одно домашнее животное...

Скрежет и двойной удар тела — вначале о капот, затем об асфальт, — но машину неудержимо несло дальше, к стремительно надвигавшейся стене деревьев, в кронах которых копошилась жизнь.

Искореженный велосипед и труп велосипедиста остались на шоссе, а перевернутый автомобиль с мертвым водителем, грудь которого смяла рулевая колонка, и потерявшей сознание пассажиркой оказался зажатым между расщепленными древесными стволами.

\* \* \*

...Рита провела без сознания целую вечность, а потом она услышала звуки падающих капель и чьих-то осторожных шагов. Она скорчилась внутри перевернутого автомобиля, выброшенная из своего кресла; ее обнаженные колени оказались прямо перед лицом — она увидела, что они изрезаны осколками лобового стекла. Возле ее левого глаза болтался паук, спускавшийся откуда-то сверху на невидимой нити паутины...

Раздался скрежет открываемой дверцы. Затем сильные руки выволокли Риту наружу, вынесли на дорогу и усадили в кабину пикапа, черного, будто катафалк.

Ее веки были полузакрыты, и ничто в мире не

могло бы сейчас заставить ее повернуть голову, откинутую на спинку сидения, но именно поэтому вся картина катастрофы оказалась у нее перед глазами. Она была слишком слаба, чтобы протестовать, и слишком плохо соображала, чтобы удивляться, но то, что она увидела, наполнило ее душу предчувствием кошмара, которому еще только предстояло свершиться.

Водитель пикапа поднял труп велосипедиста и положил его в перевернутую машину на то место, где недавно находилась Рита. Потом она услышала металлический грохот, который мог издать только велосипед, брошенный в кузов. Водитель пикапа оглянулся по сторонам, облил разбитую машину и пятна крови на дороге бензином из канистры, а затем щелкнул зажигалкой.

Столб огня ослепил Риту, и это было последнее, что она помнила, прежде чем снова провалилась в небытие...

\* \* \*

Самым унижительным вначале казалось то, что во время прогулок она должна была отправлять свои естественные потребности. Двор внутри замкнутого четырехгранника стен был голым, как пустыня, и она была вынуждена заниматься *этим* на глазах у своего хозяина.



Справедливости ради надо заметить, что он редко смотрел на нее в такие минуты. Зрелище и в самом деле было не из приятных... В любом случае, Рита чувствовала себя ужасно. Она доводила себя до крайности, терпела, пока были силы. А потом уже становилось почти все равно...

Как-то раз, когда он отсутствовал целые сутки, она не выдержала и помочилась в доме. После этого он жестоко избил ее, несмотря на объяснения, проклятия и мольбы. Позднее он наказал Риту тем, что в течение недели внимательно наблюдал за нею во время прогулок, не упуская ни малейшей подробности.

О эти муки на голом, будто крышка стола, дворе! Кто мог их понять?!. Сцены этих мук стали фильмом, который затем многократно прокручивал ее мозг. Например, то, как она выбирает место в тени возле каменной стены. Кстати, если он выводил ее в полдень, тени не было вообще.

Двор был залит безжалостным светом солнца, и Рита чувствовала себя жалкой тварью, которую равнодушно и бесцельно рассматривало могущественное существо, Хозяин Вселенной, держа на конце своего указательного пальца. А вокруг еще и грохотала музыка. Осборн пел «Бунтарь рок-н-ролла»...

Рита садилась, снимала трусики, но, несмотря на мучительное желание, в течение нескольких

секунд не могла выдавить из себя ни капли. Немилосердное солнце смотрело на нее одним слепящим глазом с небес, чистых, словно кафель в операционной, и во всем этом был ужас, по-настоящему понятный только ей одной.

Вечер приходил, неся с собой недолгое облегчение. Немного прохладного воздуха, немного лунного света и темный двор, где возникала иллюзия, что она может сделать хоть что-нибудь так, как это делают все остальные люди...

Иногда Рита не видела в темноте стен, и об ее безнадежном положении напоминал только ошейник, позвякивавший на шее, а также черная полоса, очертившая небо, на которой не было звезд. Поводок, пристегнутый к ошейнику, исчезал в темноте, чтобы возникнуть снова на слабо освещенной веранде змеей, обвившей запястье хозяина.

Рывок — и стальные зубья впивались в ее горло.

Значит, хозяин считал, что его домашнему животному пора спать.

\* \* \*

После аварии Рита отделалась шоком и несколькими болезненными царапинами на лице и теле. Но очнулась она с уже надетым ошейником, и

первое, что она увидела, была грубая металлическая миска, стоявшая на полу посреди комнаты без мебели и окон. Нелепость всего этого она сочла лучшим свидетельством того, что ее мозг поврежден.

Рита закрыла глаза, собираясь с мыслями. Она чувствовала непреодолимую слабость во всем теле и тупую боль в груди. Боль не физическую, а больше похожую на страх перед жизнью, начинавшейся вновь. Теперь в этой жизни были катастрофа, раздавленное тело мужа, труп велосипедиста, сгоревший вместо нее в машине, и ошейник на ее собственной шее...

Потом она сообразила, что ни один настоящий безумец не подозревает о своем безумии. Во рту у нее пересохло. Сухость распространилась внутрь, и вскоре все ее тело стало похожим на колеблющийся лист картона.

Когда сухость прошла, Рита почувствовала, что хочет есть. Спустя несколько часов голод стал невыносимым.

Она проползла по холодному полу, приближаясь к миске. Миска оказалась наполненной какой-то вязкой смесью, имевшей не очень аппетитный запах, но Рита была слишком голодна, чтобы обращать на это внимание. У нее кружилась голова. В желудке поселился зверек, требовавший пищи. Любой пищи...

В комнате не было ни ложки, ни вилки. Немного поколебавшись, девушка стала пить из миски, подолгу ожидая, пока смесь соберется в липкий комок и попадет ей в рот. То, что осталось на дне, Рите пришлось доесть руками.

А потом появился водитель черного пикапа и, не произнося ни слова, налил в миску воды. Она пыталась расспросить его о чем-то, пока у нее хватало сил, но тогда, как, впрочем, и всегда с тех пор, ответом ей было молчание. Молчание, худшее, чем ненависть, побои и унижения, потому что для Риты в нем не было вообще ничего человеческого.

Уже тогда она с непередаваемым ужасом поняла, что дверца клетки захлопнулась навсегда.

\* \* \*

Возможно, ей было бы легче, если бы она знала, зачем нужна этому человеку. Но ни разу ни единым жестом, взглядом или поступком он не выдал ей этого.

В первые недели своего пребывания в доме Рита всерьез ожидала того, что он может попытаться изнасиловать ее или потребует чего-то, пусть неприятного, грязного, мерзкого, но хотя бы объяснимого...

Она ожидала напрасно. Все, что она получила, это еду и воду дважды в день, а также недолгие

прогулки на длинном поводке по замкнутому со всех сторон внутреннему дворику.

Хорошо ощущаемая сила хозяина не оставляла ей надежд покалечить или убить его. Спустя месяц после аварии Рита возненавидела себя за то, что два раза в сутки покорно принимала миску с едой из его рук...

Несмотря на полную безысходность, она не могла совершить и самоубийство. Разбить голову о стену или перегрызть вены было выше ее сил. Еще более страшным казалось дать убить себя этому человеку. Презрение лишь усугубило дневную боль и извращенность ее снов.

В своих снах она видела, как полчища липких мух гнездятся в самых интимных частях ее тела, а еще там хранились отрезанные змеиные головы.

\* \* \*

Вскоре такой образ жизни привел к тому, что она пахла, точно животное, и уже почти не испытывала потребности в одежде. Всякие представления о человеческих предрассудках, в том числе о «приличиях», стерлись из ее памяти. Ее кожа загрубела; теперь Рита воспринимала холод, ветер и дождь как нечто неизбежное, как то, что нужно переносить терпеливо, не испытывая страданий и тоски.

Ее волосы, которые не расчесывались несколько лет, всегда были спутаны; когда они становились слишком длинными, хозяин подстригал их, небрежно кромсая тупыми ножницами, и это было для нее еще одной периодической пыткой. Она предпочла бы этой пытке паразитов.

Если хозяин считал, что Рита стала слишком грязной, он мыл ее, но это не приносило ей облегчения и тем более не казалось блаженством — она просто тупо глядела на мыльную воду, сквозь которую проступали зыбкие очертания ее болезненно-бледного тела.

Она одевалась только для прогулок, а ночью спала голая, поджав ноги, прямо на твердом холодном полу. Она не боялась заболеть и умереть. Рите даже хотелось этого, но судьба не сделала ей такого одолжения.

\* \* \*

Зеркала и случайные отражения с некоторых пор пугали ее — она забыла, как «должна» выглядеть. Увидеть себя означало для Риты испытать почти мистический ужас, непереносимый для сознания, сжавшегося в точку. Этой точкой была ненависть, не имевшая ничего общего с обыкновенной человеческой ненавистью.

Ненависть, которую она испытывала, не затрагивала ее уснувший мозг, но зато пропитывала каждую клетку тела, дрожала в каждом нерве, жила где-то рядом с паническим страхом... и могла никогда не проявиться.

\* \* \*

Изредка, не чаще нескольких раз в год, хозяин выходил с Ритой за пределы двора, и тогда на ней не было ошейника, однако нож в его кармане и укол какого-то наркотика делали ее смирной и послушной. Во время этих прогулок она испытывала лишь покорность и страх, которые настолько явно читались в ее глазах, что заставляли людей, попадавшихся навстречу, внимательнее присматриваться к странной паре — хорошо одетому мужчине и девушке с абсолютно диким лицом, одетой кое-как. Но ни разу ни один из прохожих не захотел познакомиться с ними поближе.

Постепенно она забывала о том, что значит цивилизация. Дома, машины и люди стали для нее не более чем предметами, наделенными запахом, цветом, вкусом, способностью издавать шум, заполнять пространство и вызывать страх. Все они были возможными причинами неведомой смерти, и во время прогулок Рита часто бросала вокруг себя

осторожные взгляды. Названий этих предметов она не помнила и уже не отождествляла одни и те же вещи, увиденные в разное время.

Это превращало каждую ее прогулку в путешествие, полное пугающих чудес и странных событий, в которых она не принимала никакого участия. Вернее, ей была отведена единственная и неизменная роль — бояться собственной тени.

В ней проявилось нечто, скрытое ранее под толстой скорлупой человеческой фальши, нечто, живущее по своим законам, неузнаваемое и невысказанное; сущность, чуждая всякой логике и всякому рассудку, подымавшаяся из темной пропасти бессознательного и помнящая времена, когда моста через эту пропасть не существовало вовсе — как не существовало и стены, отделившей первозданную душу от вещей привычных и слишком реальных, чтобы задумываться над тем, что находится по другую ее сторону.

Рита была теперь существом из другого мира, в котором все имело свое таинственное значение и одновременно не имело никакого значения, — мира бродячих собак, крадущихся теней, зыбких лун, ночных невнятных звуков, неузнаваемых форм и никем не названных ощущений.

Она осталась одна, если не считать Хозяина Ее Вселенной, но его место было слишком огромно, чтобы принадлежать этому миру. Он владел



пространством, в котором она жила; небом потолка; землю пола; горизонтом стен; холодным светом и непроглядной тьмой; едой, дававшей силы жить; временем спать и смотреть на мир; видениями, сменявшимися друг друга; чудесами прогулок и ошейником, который мог причинять боль.

Мысль о том, что спасение может прийти извне, давно не приходила ей в голову — она жила ощущениями и инстинктами. Для нее больше не существовало властей, законов, государства и ее собственных прав. Поднять руку на Хозяина или хотя бы сбежать — такие поступки казались слишком ужасными, и почти не осталось причин, которые могли побудить ее сделать это. Была только одна причина — совсем слабый зов, звучавший все реже и реже, но наконец дождавшийся своего часа...

\* \* \*

Рита шла по дну ущелья, стены которого сверкали огнями, и пыталась привыкнуть к пугающему ощущению свободы. Не было ошейника и поводка, связывавшего ее с Хозяином; теперь она сама выбирала дорогу.

Она не испытывала радости по поводу своего внезапного освобождения, потому что воспоминания о случившемся недолго жили в ней.

Зато исчезло и чувство вины. Все, что произошло, быстро растворялось в тягучем киселе ее тлеющего сознания, а настоящими казались лишь каменные ущелья, движущиеся силуэты вокруг и жутковатое отсутствие ошейника, к которому она так привыкла...

Возможность бежать от Хозяина появилась у нее совершенно неожиданно, но она вряд ли воспользовалась бы ею и даже не заметила бы ее, если бы не услышала в это время необъяснимый зов — из прошлого, будущего или просто из мира за стеной. Во всяком случае, этот зов превратил ее волю из бесформенной лужи в быстро текущий ручей, искавший выход. И он его нашел.

Ее побег был случайным, но по-звериному тихим и быстрым.

\* \* \*

Наступал вечер.

Она проснулась и сидела, уставившись в темноту, в ожидании прогулки. Какая-то часть ее существа отметила, что после возвращения Хозяина не было слышно привычного скрежета запираемых замков.

Дыхание вошедшего в ее комнату человека было тяжелым и смрадным. С ним появился давно забытый Ритой запах алкоголя. Хозяин долго

смотрел на нее, слегка покачиваясь, а потом, не раздеваясь, прошел к себе в спальню. Она с тихим отчаянием поняла, что сегодня у нее не будет вечерней прогулки.

Он пренебрег мерами предосторожности не столько потому, что был пьян, сколько из-за твердой и давно сформировавшейся уверенности в том, что его домашнее животное уже не способно на побег.

Он полагал, что убил в Рите не только тоску о потерянном мире, но и саму память о нем.

И он был почти прав.

\* \* \*

Близкая паника и далекий зов, доносившийся снаружи, выгнали ее из клетки. Она распахнула дверь комнаты, в которой жила и спала на голом полу, и ее взгляду открылся длинный коридор. В конце коридора чернел прямоугольник заветной двери; за этой дверью был ее теперешний рай.

...Давным-давно, в другой жизни, на одной из верхних планет, она пыталась представить себе рай, и ей никогда не удавалось сделать это; но зато она очень хорошо представляла приближение к нему — как долгий полет внутри мрачного коридора, стены которого были сгустившимся мраком.

С каждым мгновением удалялось оставшееся

позади все грязное, плоское, человеческое... Не было ничего хуже человеческой грязи — омерзительной блевотины с одуряющим запахом. Ни одно животное не могло произвести такой исключительной грязи, какую производили люди, — может быть, потому, что это приобретало значение только для им подобных...

Но впереди, в конце черного коридора, было разлито волшебное сияние, нежное, как лунный свет, однако обещавшее гораздо больше — целый блистающий мир, слишком прекрасный, чтобы описывать его жалкими бледными словами.

От этого свечения захватывало дух; даже в снах, а может быть, именно в снах, у Риты щемило сердце от тоски по всему несбыточному, тому, что существовало только в конце черного коридора и больше нигде в целом мире. Случалось, она просыпалась со следами высохших слез на висках и после этого целый день чувствовала себя больной.

Сейчас ее не коснулась даже слабая тень тех ощущений. Только инстинкт двигал ею — инстинкт, гнавший Риту прочь отсюда.

Она бесшумно выскользнула из комнаты, готовая каждую минуту шмыгнуть обратно, и услышала хрипы, вырывающиеся из его полуоткрытого рта. Острое отвращение, охватившее ее, было уже совсем человеческим чувством, но она не поняла этого. Возможно,

именно отвращение помогло Рите нарушить табу, казавшееся незыблемым, и превратило липкий страх перед Хозяином Вселенной в кнут, подстегнувший ее.

Целую вечность она кралась по длинному коридору под аккомпанемент его хрипов к двери, за которой были луна, небо и отсутствие стен. Она столько раз ходила этой дорогой с надетым ошейником, врезавшимся в горло, что знала наизусть каждый квадратный сантиметр пола; ей были неизвестны только последние несколько метров перед самой дверью — ее *terra incognita*. Здесь Хозяин всякий раз поворачивал направо, в узкий боковой проход, ведущий во внутренний дворик, где она трижды в сутки справляла нужду.

В этот момент еще одно рудиментарное чувство шевельнулось в ней — сладкое предвкушение мести. Кухня находилась где-то рядом; Рита никогда не была там, но видела, откуда Хозяин приносил еду и воду. По какой-то странной, мучительно необъяснимой для нее причине она ассоциировала с кухней блеск металлических предметов, среди которых могли быть и предметы для убийства...

Она оказалась возле приоткрытой двери в спальню. Бог, поверженный не столько алкоголем, сколько испытываемым Ритой безграничным отвращением, предстал ее взгляду в необычном

ракурсе — она видела только его тяжелый, плохо выбритый подбородок и кадык, заметно дергавшийся при каждом выдохе. Все лишнее исчезло, растворившись в зыбком мареве, — остался только кадык, этот пульсирующий бугор плоти, в котором была заключена враждебная жизнь.

Дальнейшее происходило за упавшим кровавым занавесом: сверкающее лезвие аккуратно вскрыло этот нарыв, и из него толчками стал извергаться гной, а затем и кровь. Рита всхлипнула от ужаса, и звук собственного голоса заставил ее броситься прочь из спальни.

С дрожащими коленями она преодолела последние несколько метров, оставшихся до двери, которая вела во внешний мир, и коснулась ее ладонью. Пальцами, потерявшими чувствительность, она обхватила ручку и потянула дверь на себя...

\* \* \*

В раю не было сияния. Рай оказался холодным и темным, а еще в нем накрапывал дождь. Но все равно ее восторг нарастал и с каждой секундой становился сильнее страха. Она открывала дверь все шире, пока не увидела свою тень, падавшую вовне. Часть тени терялась во мраке.

Тогда Рита с ужасом осознала, что больше не слышит хрипов, исходивших из хозяйской глотки. Ее собственная глотка как будто покрылась коркой сухого асфальта.

Рита начала оборачиваться, уже догадываясь о том, что происходит у нее за спиной. По ее личному времени это движение было долгим и мучительно неуклюжим, но на самом деле она обернулась стремительно...

И выдавила из себя приглушенный крик.

Сквозь сетку спутанных волос, упавших на глаза, она увидела грузную фигуру Хозяина, опиравшегося на стену. Казалось почти невероятным, что в таком состоянии он мог проснуться и подняться с кровати...

Он стоял в полутемном коридоре, и рассмотреть нож в его руке было невозможно, однако обостренное чутье жертвы подсказало Рите, что нож там все-таки есть.

Потом он сделал движение, слишком быстрое и ловкое для пьяного, и она успела отшатнуться только потому, что ожидала чего-то в этом роде. Нож с чудовищной силой ударился о дверь рядом с ее головой, и больше ей уже не требовалось никаких предупреждений.

Она выскочила из дома и стремительно помчалась по аллее, ведущей к дороге, преследуемая затихающими проклятиями, которые

были для нее не более чем угрожающим шумом...

\* \* \*

Спустя час Рита вошла в город. Все-таки она была *домашним* животным и устремилась не в лес и не к унылой ленте реки, а к острову миллиона огней, зыбко мерцавших на горизонте сквозь завесу дождя. Что-то подсказывало ей, что там есть еда, места, куда не проникает дождь, и немного тепла — совсем немного, чтобы согреться.

\* \* \*

Она забыла человеческий язык и была обречена на абсолютное одиночество. А потом ее ожидало и нечто худшее. Бездомная, без имени и почти без одежды, она не могла ни о чем попросить или рассказать о своей беде. Представление о том, что кто-нибудь может ей помочь, давно выветрилось из ее головы. Сознание Риты стало сознанием существа, единственного во всей Вселенной. Хозяин был не в счет, как высшая и отвратительная сущность.

...Она бродила по городу двое суток и уже пошатывалась от голода. Воду она пила из реки или из луж. Вода оказалась омерзительной на вкус, но это было лучше, чем ничего.



В последнюю ночь ее избили нищие, собравшиеся под мостом, когда от отчаяния она приблизилась к их костру. Чем-то она взбесила их — немая и босая женщина с пугающе бледным лицом, вышедшая из ночного мрака.

Инстинкт подсказывал ей, что днем надо прятаться в безлюдных местах, но и там у нее случались неприятные встречи... Ее щека была порезана бутылочным горлышком и постоянно кровоточила.

Рита оказалась в изгнании, худшем, чем заточение.

\* \* \*

Сжавшись в комок от холода, она сидела под каким-то мостом и смотрела в черную ледяную воду вяло текущей реки. Рита была согласна умереть и даже ждала смерти — но только не здесь, рядом с этой чернотой, медленно, по каплям, высасывающей жизнь.

Поверхность реки маслянисто поблескивала, отражая свет фонарей на набережной. Вода несла отбросы, словно схлынувший гной.

Рита услышала позади себя глухое рычание. Обернувшись, она увидела неясные тени и желтые точки глаз. К ней медленно приближалась стая бродячих собак. Страх быть съеденной пробудил в

ней остатки воли. Она поднялась и начала отступать, прижимаясь спиной к гранитным плитам.

Свора не торопилась. Рита рассмотрела с десяток одичавших собак различного размера и окраса; всех их объединяли поиски пищи, и друг на друга они были похожи только голодным блеском в глазах. Она чувствовала себя слишком слабой, чтобы обороняться.

Камень, попавший под ногу, лишил ее возможности бежать. С воплем отчаяния Рита заскользила вниз по гранитной плите, в клочья раздирая платье на спине. Боль от порезов на мгновение ослепила ее, и эхо ее крика слилось с ликующим рычанием крупной собаки, бросившейся ей на грудь...

Рита отчаянно дернулась, пытаясь отползти в сторону, и челюсти зверя щелкнули в пустоте у самого ее горла. Потом ее отросшие ногти вонзились в шею собаки, и сильнейший звериный запах ударил ей в нос. Она почти задохнулась, но еще сильнее сжала руки, чувствуя, как лопается кожа под ногтями...

Древние, темные, животные рефлекс проснулись в ней. Их только подстегнула боль, возникшая, когда еще чьи-то острые зубы впились в ее ногу. Тогда она сделала то, на что была совершенно не способна в своей прошлой жизни, и

то, чего не совершала даже в самых мрачных снах.

Пульсирующее горло собаки оказалось поблизости от ее лица, и в это горло, покрытое свалявшейся рыжей шерстью, она вонзила зубы, по-звериному обнажив десны.

Горячая липкая кровь, извергавшаяся толчками, заполнила ее рот, смешавшись с вонью, исходившей от собачьей кожи и клочьев жестких, как проволока, волос...

В мире не осталось ничего, кроме хрипа и судорог смертельно раненой собаки. Риту едва не вывернуло наизнанку от отвращения, но она не разжимала зубы до тех пор, пока издыхающее тело, зажатое в тисках ее рук и челюстей, не обмякло и не перестало содрогаться. Тогда она отшвырнула от себя мертвого пса, и свора немедленно набросилась на него, привлеченная запахом свежей крови...

Ее грудь и ноги были изранены; теперь пришла пронзительная боль, которой она раньше не замечала. Голова закружилась... Рита едва не рухнула в обморок. Только то, что опасность еще не миновала, заставило ее чудовищным напряжением оставшихся сил удержаться по эту сторону границы между реальностью, в которой было одно только страдание, и благословенной чернотой беспомощности...

\* \* \*

Потом она издали наблюдала за тем, как собаки заканчивают свое отвратительное пиршество, и не могла отделаться от странного ощущения, что у нее на глазах в собачьих желудках исчезает часть ее собственного существа, а все, что осталось, — лишь тень, обреченная вечно скитаться во мраке под ледяным дождем, нигде не находя себе приюта.

Она смотрела на собак до тех пор, пока не почувствовала, что может идти; тогда она поднялась и, пошатываясь, пошла прочь, подальше от бродячей стаи четвероногих и оседлой стаи двуногих, от тоскливого рева монстров на колесах, мимо полей электрического света и каменных башен, среди которых заблудилось отчаяние...

\* \* \*

В доме никого не оказалось, однако дверь была открыта, и Рита тихо прокралась по темному коридору в комнату без мебели и окон, а там сняла с себя изорванное платье, сдирая с ран засохшую кровь и тихо постанывая от боли. Однако это было ничто в сравнении с пережитым.

Миска стояла на полу, но у Риты не осталось сил, чтобы поесть.

Голая, она легла, поджав колени и почти

упершись в них подбородком, на холодный пол своей камеры и обхватила предплечья кистями рук.

В таком положении она стала засыпать, и хотя знала, что утром ее ожидают жестокие побои, а может быть, и смерть, душа ее была спокойна — она вернулась к своему Хозяину.

*Февраль 1993 г.*

## «ЖИЛЕЦ»

В этом отеле было шесть миллиардов комнат. И еще несколько миллиардов на подземных этажах. Оттуда *она* и появилось.

Кто-то из репортеров с присущим людям этой профессии черным юмором окрестил новую болезнь «синдромом жильца». Ее природа и каналы распространения остались неизвестными. Дилетанты заговорили о вирусном штамме, поражающем нейронную сеть человека и формирующем сверхразреженный негуманоидный «мозг». Позже выяснилось, что жертвами «эпидемии» стали не только люди. Употреблялись бессмысленные словосочетания типа «интоксикации массового сознания». Вряд ли это имело что-то общее с действительностью.

«Жилец» начал «двигаться», оставляя за собой

трупы. Или почти трупы. Идиотов (но, вероятно, были и святые), которые ни о чем не могли или не хотели рассказать. Вот уж действительно — «отель, где разбиваются сердца»! Сколько времени нужно, чтобы побывать в каждом номере, освободить его от устаревшей мебели, спустить прежнего обитателя с лестницы, полюбоваться видом из окна... и успеть соскучиться?

Никто не знал. Но «жилец», судя по всему, было некуда спешить. В его распоряжении оказалась вечность — в сравнении с ужасающей краткостью земного человеческого существования. А это означало, что отель не останется прежним. Будут достраиваться новые этажи, а самые старые и непригодные обрушатся сотнями и тысячами уже в следующую секунду. Поэтому его эволюция обещала быть стремительной и необратимой. Некоторым людям пришлось иначе взглянуть на отведенное им время. Долгая жизнь, красивая жизнь, кошмарная жизнь, жизнь любой ценой (праздник, который *не всегда* с тобой) — и больше ничто не имело значения.

Внезапно «жилец» обнаружил, что может радикально изменить среду обитания, приспособить ее для себя. Как говорил один гедонистически настроенный «учитель жизни», если уж суждено страдать, то лучше страдать с удобствами.

А разве нет?

Но начиналось все с сущего пустяка.

\* \* \*

Ее идентификационный код был забыт. Кое-что, конечно, сохранилось в истории болезни — бессмысленный набор букв. Произнеси его вслух — и на это «имя» все равно никто не отозвался бы. Женщина, носившая его, ничего не слышала, не видела и не ощущала.

Санитары называли ее между собой «морской свинкой» за неестественно розовый цвет кожи. Солнечные лучи не прикасались к этой коже в течение двадцати трех лет, но «свинка» вовсе не отличалась болезненной бледностью. Напротив, она была свежа, как майское утро, и выглядела гораздо моложе своих сорока лет. Ее не портили даже следы старых ожогов на правой половине лица. Следы можно было принять за родимые пятна странной конфигурации.

Большую часть времени она лежала на спине. Когда возникала угроза образования пролежней, ее переворачивали набок, сажали на пол или ставили в угол — чтобы не мешала убирать. Уборка палаты занимала всего около пяти минут. На кормление и переодевание требовалось гораздо больше времени — ведь «свинка» ходила под себя с удивительной регулярностью. По ней можно было сверять часы.

Ступор с восковой гибкостью — это довольно смешная штука, если вы обладаете специфическим чувством юмора. Большинство санитаров обладали им в полной мере. С пациентом-кататоником можно делать все что угодно. Он сохраняет то положение, которое вы ему придадите, столько времени, на сколько хватит вашего терпения. Он — живое пособие по хатха-йоге. Ограничения накладываются лишь жесткостью скелета и фантазией экспериментатора.

В этом смысле особенно изобретательными были «ночники». Случалось, «морскую свинку» ставили на четыре точки, а затем играли в нарды на ее спине ночь напролет. Ей было абсолютно все равно. Она могла стоять так даже с открытым ртом и огурцом в заднице (для смеха) — если не полениться и сделать соответствующие приготовления. Кстати, кормить ее было сущим мучением. Процесс пережевывания пищи растягивался на десятки минут. Поэтому «свинку» питали преимущественно кашкой или посредством инъекций. Быстро и без хлопот.

Теперь о времени и месте действия. Две тысячи пятый год. Харьков. Бывшая усадьба губернатора Сабурова, ныне — больница приказа общественного призрения (проще говоря, психушка). Третий подземный этаж корпуса «Д». Седьмое особое отделение (официально их было



всего шесть). Крайне ограниченный доступ. Вневедомственная охрана. Подземные коммуникации. Специальное снабжение с территории оборонного предприятия, расположенного по соседству, за пятиметровым забором.

Отсюда осуществлялись поставки «биологического материала» для лабораторий военной разведки. Однако некоторые исследования персонал больницы проводил самостоятельно. То есть занимался тем, что по контрасту с прикладными задачами вояк можно было назвать «фундаментальной наукой». Именно поэтому «свинка» задержалась тут надолго. Ее случай являлся бы в общем-то достаточно банальным, если бы не одна деталь: в течение двадцати трех лет электроэнцефалограммы показывали наличие постоянного по амплитуде тета-ритма, что соответствовало состоянию абсолютного самадхи.

Кроме того, ее биологический возраст практически не изменялся. Таким образом, «морская свинка» оставалась уникальным и почти неизученным объектом. Чем-то вроде «черного ящика» психопатологии. Она занимала одиночную палату площадью девять квадратных метров — комнату с глухими стенами метровой толщины, покрытыми мягкой обивкой, и стальной дверью. В помещении находились кровать и единственный

источник света, защищенный металлическим решетчатым колпаком.

Ни один из пациентов, перебивавших в седьмом отделении за всю историю его существования, не имел родственников, а шестнадцать из них, как следовало из документов Министерства внутренних дел, были казнены за тягчайшие преступления по приговору суда в различное время, но не менее восьми лет назад. На самом деле они умерли гораздо позже — при испытаниях экзотических видов оружия, включая пси-резонансные излучатели и вирус-мутант JBES. Однако кое-кто до сих пор был «жив». А кое-что условно *считалось* живым. Например, мозговые клетки четверых «психов» (среди них — знаменитого серийного убийцы и педофила Мирона Мельника) были задействованы в некристаллических структурах биокомпьютеров военно-космических сил.

«Свинка» не представляла интереса для военных ни в качестве жертвы, ни как «иррациональный расширитель баз данных». Она была нечувствительна к боли и внешнему излучению; альфа- и бета-активность мозга почти полностью отсутствовали. При этом сохранялся мышечный тонус, достаточный для поддержания давления во внутренних органах. Ее личность равнялась нулю; этому существу полагалось

находиться в глубочайшей коме; оно было бы абсолютно бесполезным... если бы не тета-ритм и феноменальный обмен веществ, свидетельствовавший о том, что «свинка», возможно, представляла собой бессмертный человекоподобный организм, рывком достигший эволюционного потолка.

У некоторых жрецов «чистой науки» при мысли о «свинке» захватывало дух.

\* \* \*

Славик Рыбкин работал в седьмом отделении санитаром. Это был ничем не примечательный малый, если не принимать в расчет его нездоровую склонность к порнографии.

Гипертрофированные, должным образом подсвеченные и отретушированные женские прелести потрясли его воображение еще в начальной школе. Но он не стал вульгарным дровичом. Наоборот, со временем Рыбкин превратился в настоящего эстета от порно. Он открыл, например, что ногти на пальцах мастурбирующей женщины, покрытые красным лаком, могут выглядеть как капли крови на бархатных лепестках; ягодицы — как песчаные дюны, освещенные закатным солнцем; а грудь — как нежный тропический плод, покрытый

золотистым пушком.

Изредка у него случался секс с «реальными» бабенками, и всякий раз Славик поражался тому, насколько далеки они были от идеала. Он замечал малейшие изъяны в их внешности. Ему достаточно было увидеть пластырь на растертой пятке, мохнатую родинку на щеке, прыщ на шее или почуять запах пота, чтобы желание тут же трансформировалось в брезгливую холодность. А от обкусанных ногтей Рыбкину вообще хотелось блевать.

Надо отдать ему должное, он не сразу утвердился в поклонении недостижимому целлулоидному совершенству. Перепробовав дамочек из своего окружения, Рыбкин добрался до самых ухоженных, но при ближайшем рассмотрении и эти оказались не без дефектов. Тогда он решил рискнуть, поистратиться и обратился к услугам по-настоящему дорогих проституток. Результат оказался разочаровывающим. Везде Славик видел не одно, так другое: сыпь в паху, пломбированные зубы, черные точки на месте выбритых волос, шрамики или просто чересчур мясистые пальцы. Этому парню было трудно угодить.

Окончательно добило его курортное приключение в Судаке. Сняв на пляже столичную штучку, он обработал ее в ресторане и, доведя до

нужной кондиции, повез в мотель.

Была волшебная крымская ночь. Южный ветер шумел в кипарисах. Звезды мерцали, переговариваясь с поэтами азбукой Морзе. В специально подготовленном Рыбкиным номере пахло свежими яблоками...

У «штучки» был прекрасный ровный загар, поэтому ее тело от шеи до кончиков пальцев на ногах казалось Славику сладким коричневым леденцом. Он и начал облизывать его с вожделением, которого не испытывал достаточно давно...

Все шло чудесно до той минуты, когда Рыбкин добрался до лифчика. Освободив «леденец» от этой упаковки, Славик взвыл и выскочил из номера, едва успев натянуть брюки. Много ночей подряд его преследовало одно и то же кошмарное видение: ложбинка между очаровательных, налитых и загорелых женских грудей, заросшая черными курчавыми волосами...

Сам Рыбкин тоже был далеко не мраморный Аполлон, поэтому он возненавидел и собственное тело. У него появился своеобразный комплекс неполноценности. Это углубило психологическую травму и вызвало интересный синдром замещения. Женщины перестали его удовлетворять. Ему было хорошо с собой и своими фантазиями, когда он изучал бесконечно соблазнительные тела по

журналам и порнофильмам.

В общем, болезнь приобрела хронический характер. Рыбкин ни о чем не переживал. Он считал это легким, незаметным для окружающих и безобидным отклонением от нормы, которое никак не отразилось на его профессиональных качествах. В больнице он был на хорошем счету. Начальство отзывалось о нем как о добросовестном, физически сильным, душевно устойчивом и морально здоровом работнике, что позволило ему со временем заключить новый контракт и получить доступ в седьмое отделение.

Он попал в эту секретную тюрягу для психов, откуда они отправлялись в последний путь (иногда довольно мучительный), когда уже обозначился конец процветанию. Рыбкин пользовался благами, вкушал от спецкормушки, но совсем недолго. Потом наступила эпоха разоружения, разразился экономический кризис, за ним последовала глубочайшая депрессия. Все военные программы были свернуты; уникальное оборудование законсервировано или распродано с аукционов; снабжение и финансовые вливания прекратились. Численность персонала седьмого отделения уменьшилась на две трети. «Клиентура» также понесла невосполнимые потери — особенно после отмены в стране смертной казни. В результате из сорока «перманентных» в отделении осталось всего

шестеро. Среди них — знаменитая в узких кругах «морская свинка».

Сокращение младшего медицинского персонала означало расширение обязанностей дежурного санитаря. В частности, теперь один раз в шесть часов ему приходилось иметь дело со «свинкой». Точнее, с продуктами ее вялой жизнедеятельности.

И Славик Рыбкин возненавидел свою работу.

\* \* \*

Рыбкину предстояло скучнейшее двенадцатичасовое дежурство, и вряд ли развеять его депрессию могли свежие номера «Плейбоя», «Нью-альтернативы» и «ТВ-секса», лежавшие в шкафчике номер семь в мужской раздевалке.

Он приехал на несколько минут раньше и поболтал с охранниками о футболе. Они сошлись на том, что в этом году киевское «Динамо» должно взять Кубок «Гойоты». Затем Рыбкин прошел к служебному лифту и нажал не самую заметную кнопку с надписью «подвал». Спустившись на двенадцать метров вниз, он прошел через предварительный фильтр и подвергся трехступенчатой идентификации (голос, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза). С точки зрения Славика, это был абсолютно никчемный пережиток

шпиономании, отнимавший время и электроэнергию. Зато минуло уже полгода, как уволили Юлика, служившего во внутренней охране и долгое время бывшего постоянным партнером Рыбкина по деберцу.

Лишь после того как неумолимый электронный жлоб открыл перед ним стальные двери седьмого отделения, его дежурство началось официально. Он машинально посмотрел на свои противоударные водонепроницаемые часы. Было 20.01. Колян, которого он сменил, уже переоделся и приплясывал от нетерпения:

— Давай быстрее, братан, у меня сегодня пьянка.

— По поводу?

— Можешь поздравить. Жена второго родила.

— А-а, — кисло сказал Рыбкин. — С тебя пузырек.

— Святое дело! Послезавтра свободен?

— Да. Все тихо?

— Как на кладбище. Правда, Бобо утром чуть пошумел, руки себе покусал.

«Бобо» — это была кличка добродушного толстяка из палаты номер три, похожего на Деда Мороза (одиннадцать убийств с последующим расчленением трупов. Цель — совершение магических действий. Самое смешное, что результат «магических действий» был налицо. Во



всяком случае, во время следствия на Бобо пытались повесить еще двенадцать жертв, которых он, по-видимому, прикончил *на расстоянии*, не выходя из своего вонючего деревенского дома... В седьмом отделении не было суеверных. Тем не менее с Бобо никто никогда не ссорился всерьез.)

— Что это с ним?

— Да хер его знает! Испугался чего-то, придурок. Я его связал, потом заставил жрать фенobarбитал. Думаю, проспит до утра.

— «Свинка» пролезала?

Этот вопрос вдруг приобрел для Рыбкина огромную важность. Лицо Коляна расплылось в широкой садистской улыбке.

— А как же! Пять часов назад...

Славик застонал. Что касалось «свинки», он считал быстро. Ему предстояло мыть ее как минимум дважды...

Они прошли на центральный пост. Здесь уже расположилась ночная сестра — толстушка Соня Гринберг — и пила свой «чегный» кофе. Рыбкин окинул взглядом два ряда шестидюймовых экранов. Большинство мониторов не работали. Один показывал длинный прямой коридор, по правую сторону которого находились двери всех сорока палат. По левую располагались служебные помещения. Еще два монитора были соединены с телекамерами, установленными в палатах с

номерами три и шестнадцать. Как и ожидалось, Бобо мирно спал. Славик увидел, что его руки действительно перебинтованы от запястий до локтей. Судя по всему, укусы были глубокими — на бинтах проступила кровь. Шестнадцатая палата была пуста.

Рыбкин едва удостоил Сою кивком. Он, мягко говоря, недолго любил эту гору потеющего рыхлого мяса, жабий рот и наивные глаза навывкате. С Соней у него был «плохой контакт», но это полбеда. Гораздо хуже, что он был вынужден ей подчиняться.

Попрощавшись с Коляном, он подошел к автомату за банкой «пепси». Сунул в щель монету и услышал, как та протарахтела к окошку возврата. Промочить горло было нечем, кроме насыщенной хлором водопроводной воды. Рыбкин выругался вполголоса.

Часы показывали всего лишь 20:12, а он уже начинал нервничать.

\* \* \*

К десяти часам вечера Рыбкин нервничал очень сильно. В этом проклятом склепе не было даже телевизора. И пообщаться не с кем, если только вы не любитель внутренних диалогов, чреватых известным диагнозом. Чертова корова

Соня Гринберг невозмутимо вязала, сгорбившись за стеклянной перегородкой.

Славик пытался утешиться, рассматривая в раздевалке «ТВ-секс». Все выглядело довольно бледно, за исключением негритянки, снятой спереди и помещенной на развороте. Та сидела с прямой спиной, соединив свои растянутые дойки у себя над головой. Между ног у нее было нечто, напоминавшее Марианскую впадину. Некоторое время Славик прикидывал, что бы он делал с этой поглотительницей мужиков, и пришел к выводу о своем полном ничтожестве.

Зашвырнув журнальчик подальше, Рыбкин отправился делать обход. Остановился возле третьей палаты и долго пялился в глазок. Скукотища была такая, что даже причуды Бобо сейчас показались бы не лишними. Но Бобо еле дышал, отключенный барбитуратами, и тонкая струйка слюны свисала из уголка его рта.

В восьмой палате шестой год обитал «неликвид». Так называли человека по фамилии Живаго. У него был забавный сдвиг. Он мнил себя инкарнацией пастернаковского персонажа и, кроме того, всерьез считал, что рядом с ним постоянно живет его малолетний сын. Все, происходящее в городе или даже в стране, так или иначе отражалось на этом несуществующем сыне. Если верить «неликvidу», дитя неизменно пребывало в нежном

возрасте и требовало неусыпной заботы.

Но это еще не все. Сын, оказывается, был глухим, и «неликвид» писал ему послания собственной кровью — обычно стихотворные. Поскольку бумаги у него не было, он пачкал простыни, одежду или стены. За это его очень не любили санитары. И что характерно: добывая «чернила», «неликвид» частенько прокусывал себе пальцы, язык, расцарапывал десны или выгрызал устрашающие раны на руках, но ни разу не предпринял суицидальной попытки (еще бы — когда-то он ведь был учителем стандартной биологии и анатомии). Вены у него были, как у двенадцатилетнего подростка.

Сегодня этот графоман сидел на полу рядом с кроватью и втолковывал что-то «сыну». Рыбкин расценил это как вопиющее нарушение режима. Он даже ощутил праведное негодование. Наконец-то. Хоть какое-то развлечение.

Когда санитар открыл дверь и вошел, «неликвид» уже успел забраться на краешек кровати — чтобы осталось место для сына. Если он и пытался притворяться спящим, то очень неумело. Рыбкин сбросил его на пол одной рукой. У Славика зарябило в глазах от того, что он увидел.

— Не будите его! — завизжал «неликвид». — Он только что заснул!

Брезгливо поморщившись, Рыбкин взял

простыню двумя пальцами и потянул вверх.

В него врезалось щуплое тело и тут же с воплем отскочило в сторону, точно резиновый мяч.

— Ой, не могу! Не могу! — запричитал псих. — Дай мне его!

Он схватил с кровати воображаемого ребенка, сложил руки перед грудью и побежал с добычей в угол.

Рыбкин безразлично улыбался. Он расправил простыню и поднес ее к свету, падавшему из коридора. Она была покрыта кровавыми каракулями, выведенными пальцем. Судя по тому, что слова наползали друг на друга, а строчки шли вкривь и вкось, «неликвид» писал в почти полной темноте. Днем он бывал более аккуратен. И все же от скуки Рыбкин прочел все.

— Ах ты, козел... — произнес Славик, закончив приобщаться к маниакально-депрессивной поэзии.

«Неликвид» сидел под стеной и укачивал пустоту. Санитар не стал его бить. Вначале. Он всего лишь пинками «подбросил» пациента поближе к свету и осмотрел его руки. Ранки на пальцах уже затягивались. Тем лучше. Рыбкин ограничился конфискацией испачканной простыни и «уложил» «неликвида» спать.

После колыбельной, которую спела резиновая дубинка, тому уже было не до «сыночка».

Славик заглянул в двенадцатую. Колян усадил «свинку» в позу лотоса. Это была привычная и уже изрядно поднадоевшая хохма, имевшая, впрочем, определенный смысл — после произвольного мочеиспускания запачканными оказывались только бедра пациентки...

В глазок Рыбкин видел ее слегка оплывший профиль, абсолютно неподвижный на фоне серой обивки. Жалкое создание! Оно вызывало у санитаря еще большее презрение оттого, что до него было не достучаться. Его нельзя было даже уязвить или сделать ему больно. Оно обитало в незримой башне из слоновой кости, отбрасывая лишь тень в мир реальности и животных страстей. «Хренова водоросль!» — подумал Рыбкин раздраженно и отправился в процедурный кабинет.

Здесь он пошатался среди зачехленного барахла. Горела одна лампа дневного света из шести. Голубой кафель казался в полумраке грязно-серым. Когда-то тут работали двенадцать человек, и скучать не приходилось даже ночью...

Внезапно Рыбкин почувствовал себя крайне неуютно. Он затравленно оглянулся. Клаустрофобия? Без сомнения. Однако было еще что-то — смутное ощущение угрозы, исходящей от... электроконвульсатора. Аппарат для электросудорожной терапии, похоже, был не прочь разогреться...

Проклятие! Славик облизал губы. Хорошо хоть спирт еще остался. Он приготовил себе сорокаградусную смесь в стерильной пробирке для забора крови... Выпил. Слегка отпустило. Беспричинная тревога улетучилась. Но пустота вползала в голову через ноздри, рот, глаза, уши и проделывала все новые и новые дыры в веществе мозга, превращая его в пористую губку, лишенную объема. Эта губка впитывала информацию, однако в ней не рождалось никаких мыслей...

Каждый звук гулко отдавался в коридоре. Славик даже слышал, как Соня шумно сопит над клубком шерсти. Вот звякнули спицы — она отложила их в сторону. Листает журнал дежурства...

— Покогми «свинку»! — заорала Гринберг так, что Рыбкин поморщился. Зато человеческий голос вернул его к действительности. Он бросил взгляд на свои великолепные часы.

Все правильно. 22:30. Ох уж эта еврейская щепетильность! «Ты ждешь еще меня, прелестный друг?..»

— Да знаю! — огрызнулся Славик и достал из шкафа одноразовый шприц. Потом открыл сейф, извлек картонную коробку и машинально пересчитал ампулы с глюкозой. Возникло некоторое несоответствие между тем, что он видел, и тем, что ожидал увидеть. Он не сразу понял, что

это несоответствие означает. А когда понял, то захихикал — но тихонько, чтобы Гринберг не услышала.

— Ну, Колян, ты даешь, мать твою! — прошептал он, восхищаясь своим сменщиком. Тот изобрел простейший способ облегчить себе жизнь. Он попросту игнорировал «свинку» в течение всего дежурства. Рыбкин готов был поставить свой месячный заработок на то, что пациентку из двенадцатой палаты никто не кормил и перорально по крайней мере трое суток...

Значит, у него сегодня будет меньше работы. Гораздо меньше.

Но Колян все-таки придурок. Это делается немного не так.

Рыбкин взял две ампулы, положил их в карман халата и вышел в коридор. Здесь он подмигнул Соне, уставившейся на него из-за стекла, будто аквариумная рыбка «телескоп пестрый», и, весело насвистывая мелодию песни под названием «Я дам тебе все, что ты хочешь», открыл дверь двенадцатой палаты.

\* \* \*

Его встретили устоявшиеся запахи мочи и пота, заглушить которые был не в силах даже дезинфектор. Рыбкин не стал включать свет



(выключатель находился на панели центрального поста). Тусклого луча, падавшего из коридора, оказалось вполне достаточно. В конце концов, он *не собирался* делать укол. Славик подошел к «свинке» и похлопал ее по бритой голове, на которой только начали отрастать волосы. И не волосы даже, а пух — настолько мягкими они были...

В этот момент что-то хлюпнуло у него под ногами. Он посмотрел вниз — на носки своих идеально белых туфель. Они уже не были *идеально* белыми. На правом расплзлось желто-коричневое пятно.

— Это что такое? — тупо спросил Рыбкин у сидящего перед ним манекена (за годы работы санитаром он привык задавать риторические вопросы). — Я спрашиваю, что это такое, твою мать?!

Славик был ошеломлен. Подобное случалось десятки, если не сотни раз, но сегодня он нервничал, как никогда в жизни. Он был, что называется, на взводе. Спусти курок — и ба-бах!

Пока бабахнуло тихо. Рыбкин всего лишь ударил «свинку» по щеке. Ее голова дернулась и свесилась набок, безучастные глаза уставились в пол. Рот приоткрылся — между зубами стал виден абсолютно *сухой* язык.

Рыбкин не осознал, что это означает. Злоба

зашкалила. В мозгу стучали противные молоточки. Ему хотелось задушить эту тварь, увидеть, как ее глазные яблоки выползают наружу...

Он медленно поднял правую ногу и вытер подошву об упругое покрытие стены. Потом попытался унять дрожь в руках и возбужденное дыхание. Гринберг редко заглядывала в палаты. («Блядские чистоплюи!» — подумал Славик обо всех, кто не был санитаром.) Это давало ему отсрочку.

Он вышел в коридор и аккуратно закрыл дверь палаты. Мускулы его лица были сведены судорогой — на нем застыла пугающая улыбка. Но пугаться было некому. Соня сидела за перегородкой из небьющегося стекла, склонившись над спицами.

По пути в сортир Рыбкин почувствовал боль в пальцах. Оказалось, что он незаметно для себя раздавил ими одну из ампул. На халате образовалось влажное пятно. «Похоже, кое-кто сегодня описался», — сказал подленький внутренний голос, интонации которого, несомненно, принадлежали Соне Гринберг. Рыбкин ощутил, как дергается левое веко. Он поднес ко рту окровавленные пальцы и начал их посасывать...

Затем он постоял в сортире, прислушиваясь к успокаивающему журчанию воды. Бросил в сливное отверстие унитаза остатки ампулы, целую

ампулу и нераспечатанную упаковку со шприцем. Правда, во всем этом было мало смысла. Его никто не контролировал.

Он спустил воду. Постоял еще немного. Сплюнул. Слюна была вязкой и тянулась, тянулась изо рта, будто стеклянная нить. Или леска, привязанная к проглоченному крючку. Рыбкину показалось, что кто-то вот-вот начнет вытаскивать наружу его внутренности...

Он выпрямился. Голова раскальвалась от внезапно нахлынувшей боли.

Что-то было не так. Плохая работа. Плохие запахи. Плохие люди. Они плохо с ним обращались.

Настолько плохо, что впору было разрыдаться.

\* \* \*

В пять часов семь минут утра Соня обнаружила Рыбкина спящим на топчане в мужской раздевалке. Почему бы нет? — она и сама вздремнула с полуночи до четырех. Славик проснулся от одного лишь ее присутствия. Сел. Его тут же бросило в пот.

— Пойди посмотри на Бобо, — приказала Гринберг. — Что-то он дергается. Перевяжи его на всякий случай.

У Рыбкина отлегло от сердца. Почему-то он

ожидал совсем другого известия. Какого именно? Этого он еще не осознавал.

Он поднялся, чувствуя необъяснимую слабость во всем теле. Кое-что он соображал, поэтому прихватил с собой резиновую дубинку.

— Свет! — буркнул он, выходя в коридор.

Соня вернулась на пост и щелкнула тумблером на панели. Рыбкин глянул в глазок, вмонтированный в дверь третьей палаты, которая теперь была ярко освещена. Бобо до сих пор не проснулся, но ворочался, словно больной в тяжелом бреду. Когда Рыбкин приоткрыл дверь, стало слышно, что пациент повизгивает по-собачьи. Славик был опытным санитаром — на своем веку он видел и слышал и не такое.

Вдруг Бобо дико завизжал и сделал попытку вскочить — с закрытыми глазами. Рыбкин отреагировал мгновенно. Он двинул психа дубинкой в живот, а когда тот сложился пополам, швырнул его на кровать. Самое удивительное, что Бобо при этом так и не пришел в себя. Он свернулся калачиком, умиротворенно урча. Как только Рыбкин повернулся к нему спиной, снова раздался дикий, безумный визг, от которого закладывало уши.

— Что ты возишься?

Славик вздрогнул и обернулся.

Соня стояла на пороге палаты.

«Какого черта тебя сюда принесло, корова любознательная?» Рыбкин послал ее — про себя. Потом распрямил Бобо, постукивая его дубинкой по суставам, и пристегнул к кровати кожаными ремнями.

Спящий визжал не переставая. В этих воплях звенел смертельный, непереносимый ужас. Из уст Бобо Рыбкин слышал всякое — от похабных анекдотов и ритуальных песнопений до рецептов приготовления паштета из детской печени, — но подобный концерт тот закатил впервые.

Славик захлопнул дверь, отгородив себя от звукового кошмара. И понял, что надо бы снова хлебнуть из пробирки...

Соня возвращалась к своему вязанью, виляя жирным задом. У Рыбкина, смотревшего ей вслед, возникло почти непреодолимое желание распороть скальпелем хрустящую ткань халата у нее на ягодицах и искромсать желеобразную плоть. Хорошо, что скальпеля под рукой не оказалось...

— Убери в двенадцатой, — сказала Соня, обернувшись. И погрузилась в свой аквариум, где было спокойно, тихо, пахло дезодорантом и завораживающе мелькали острия спиц, нанизывая на себя петли пряжи...

Славик тихо шептал проклятия. Эта идиотка Гринберг все-таки заинтересовалась тем, как поживает «свинка». Санитару Рыбкину предстояло

выполнить самую неприятную часть работы. И ничего не возразишь. В контракте его обязанности были оговорены предельно четко.

\* \* \*

Со «свинкой» все было в порядке. Во всяком случае, так показалось Рыбкину. Он подошел к ней, расставил ноги пошире, чтобы не запачкать туфли, и обхватил ее шестидесятикилограммовое тело, просунув руки под мышками. «Вставай, сука, папочка пришел!» — прохрипел он, рванув сидящую вверх.

Прислонив «свинку» к стене, Славик изучил лужу, а затем развернул пациентку и увидел, что загрязнение приняло глобальный характер. Он едва удержался от того, чтобы снова не отхлестать ее по роже.

Пачкаться не хотелось. До конца дежурства оставалось два с половиной часа. Куча времени, если знаешь, как им распорядиться. Рыбкин знал. Он не был лентяем, нет — просто сегодня он понял: *грязная* работа не для него. Человеческая грязь — это всегда нечто специфическое. Исключительная пакость. С гораздо меньшим отвращением он убирал бы коровий навоз.

Он отлучился ненадолго и вернулся с каталкой. Уложил на нее «свинку» и покатил в

сторону душевой. Увидев это, Соня покрутила пальцем у виска. Впрочем, ей было все равно — каждый сходит с ума по-своему. Рыбкин ослабился. Она поняла его без слов и щелкнула тумблером.

Душевая была огромной и напоминала процедурный зал в какой-нибудь водолечебнице а-ля «Пятигорские купальни». Из-под замутившихся от пыли плафонов сочился желтый свет. В трубах ревел местный водяной — вонючий мутант из канализации. Жертва аборта.

С порога Рыбкин сказал в пустоту: «Привет!» Его настроение улучшалось с каждой минутой.

«Вет! Вет! Вет!» — донесся ответ из кабинок.

Славик вытолкнул каталку на середину помещения и установил ее прямо над зарешеченным сливным отверстием. Напевая себе под нос старую песню о главном, он развернул шланг, закатал рукава халата и включил воду.

Напор был таким, что «свинку» едва не смыло с каталки. Рыбкин захохотал. Он сдернул с нее пижаму, широкие брюки и бросил их в контейнер для грязного белья. Перевернул безвольно лежавшее тело на живот и устроил ему массаж тугой струей горячей воды.

Душевую заволочло туманом, а «свинка» порозовела еще сильнее. Славику казалось, что он обрабатывает кусок парного мяса. Он вымыл этот

кусок до блеска и продолжал тереть его намыленными ладонями...

\* \* \*

Соня, сидевшая в кресле перед отключенными мониторами, забеспокоилась. Рыбкин застрял в душевой надолго. Он всегда казался ей неумовимо странным. Возможно, это была всего лишь неприязнь... Она не обратила бы внимания на задержку, если бы не сегодняшнее поведение Бобо. Его крики произвели на дежурную сестру тягостное впечатление. Соня чувствовала беспричинный страх с тех самых пор, как услышала их...

Она отложила наполовину связанный свитер и медленно направилась в сторону душевой. Проходя мимо двери третьей палаты, она на всякий случай подергала ручку. Дверь была заперта.

\* \* \*

У Рыбкина случилась приятная неожиданность — эрекция. Самое смешное, что он не сразу это заметил. Ему доставляло неосознанное удовольствие гладить «свинку». Сам он будто бы витал при этом где-то далеко. Потом что-то изменилось в его восприятии — и поврежденные датчики снова послали сигналы в мозг...



В этот момент Рыбкин сделал потрясшее его открытие. Он понял, что лежавшее перед ним бессловесное животное — хуже того, почти неодушевленный предмет — обладает нечеловечески совершенным телом. Он разглядывал туловище идеальных пропорций, безупречно гладкую кожу, аккуратный треугольник коротких светлых волос на лобке — картину, знакомую ему до мельчайших подробностей. Но лишь сегодня он обратил внимание на то, что даже подошвы «свинки» были не загрубевшими, а мягкими и розовыми, будто у младенца. Сейчас, когда ее роскошная плоть заблестела под струями воды, Рыбкина охватило вожделение — столь же непреодолимое, каким раньше было отвращение. Никогда, ни в одном журнале он не видел ничего более возбуждающего.

Он приспустил брюки и подтянул «свинку» к самому краю каталки. Высота была оптимальной. Он раздвинул упругие лепестки и вошел, осязая восхитительную податливость внутри. Потом наклонился и взял в рот коричневый распухший сосок...

Он двигался с упоением, которого не испытывал уже много лет. Его не смущали пустые глаза, смотревшие мимо него. Он нашел свой земной идеал, воплощение порнографических грез. И где?! Кто бы мог подумать! Он потерял так много

времени, однако теперь время ничего не значило для него. Рыбкина поразила временная слепота — но не мрачная, темная беспредметность, а следствие слепящей чистоты нового состояния. В него входила неизведанная сила, властно освобождала от сомнений, сознания собственной ущербности, гнилой морали. Мир переворачивался с головы на ноги — и это была чудесная трансформация, которую Рыбкин принял всей душой. Потом пришло прозрение...

Последнее, что он видел перед тем, как кончить, это выпученные до предела глаза Сони Гринберг, стоявшей на пороге душевой.

\* \* \*

Что-то неведомое настигло «жильца» на орбите блаженства, и он безвозвратно утратил свой небезупречный покой. А вместе с покоем — рай, невинность и власть над вечностью.

Он ощутил некий дискомфорт — там, «внизу», на темной половине мира, где обитали существа из плоти и крови. Черви, проникшие из другой вселенной, сожрали вечно юную душу. Осталась матрица, пустые соты, уродливый близнец подлинной силы. Он дорого заплатил за свое несовершенство, снова угодив в ловушку материи.

Впервые за двадцать земных лет — плюс

вечность по внутренним часам — он выбрался из своего номера в бесконечный коридор отеля. И обнаружил длинную череду дверей в пространстве и во времени. Совсем рядом, по соседству, оказался «люкс» с видом на искаженный мир.

Он постоял перед открытой дверью. Осмотрел интерьер и средства коммуникации. Все это пришлось ему по вкусу.

Потом он вошел.

Включил в номере свет. Ослепительный свет.

Перед ним корчилось что-то. Или кто-то. Недоумок, занимавший роскошные апартаменты и задолжавший очень много. Он хотел пожить еще, но уже созрел для спасения...

«Жилец» вышвырнул его вон и занял номер.

\* \* \*

Несмотря на спущенные брюки, он догнал ее, когда она уже почти добралась до центрального поста и протянула руку к кнопке «тревога».

Но вызвать охранников сверху Соне так и не удалось. Рыбкин схватил ее одной рукой за подбородок, другую возложил на затылок и резким движением сломал женщине шейные позвонки. Она не успела даже пикнуть. Раздался тихий хруст — и вечная темнота застыла в зрачках.

Отпустив медсестру, Славик посмотрел на

свои чисто вымытые ладони. На них не было ни единой частицы человеческой грязи. *Чужой* грязи. Кроме того, они приятно *пахли* .

Оставалось уладить кое-какие формальности. На часах центрального поста было 6:24. Наручный хронометр, подвергнутый серьезным испытаниям во время водных процедур, показывал 6:25. Воистину время шло так медленно, как хотелось Рыбкину! Он не ощущал и следа былой слабости. Без особого напряжения он дотащил стокилограммовую тушу Сони Гринберг до двери палаты номер три. Открыл ее и снова услышал замогильные стоны Бобо. Теперь тот стонал, как собака над мертвым хозяином.

Рыбкин втащил Соню внутрь, положил возле кровати психа и расстегнул все ремни. Бобо задергался, будто его жалили пчелы, и изогнулся дугой. Он все еще *спал* . Самодовольная улыбка на сползала с лица Славика. Он был доволен сегодняшним дежурством. Особенно тем, как оно заканчивалось.

Рыбкин вышел в коридор и оставил дверь третьей палаты *незапертой* . По пути в душевую он заглянул в хозяйственное помещение и выбрал для «свинки» комплект чистого белья. На каждом предмете чернел штампик больницы. Отчего-то это сильно насмешило Славика. Ему вообще было чертовски весело.

Высушив «свинку» под струей теплого воздуха и кое-как напялив на нее белье, он отвез пациентку обратно. Положил возле дальней стены и по-отечески поцеловал в высокий чистый лоб. Глаза «свинки» глядели в потолок и ничего не видели. Ресницы не дрожали. Крылья носа были неподвижны... С легким сердцем Рыбкин принес ведро воды и вымыл пол. Затем еще раз тщательно вытер руки.

Оставшееся до конца дежурства время санитар посвятил ревизии в своем шкафчике. Журналы, которые теперь были ему не нужны, он бросил в мусоросжигатель. Избавился также от «колес» и ампул морфина. Сменил халат на сухой и чистый. Съел «сникерс» — и порядок!

В 7:14 он проведаль свою новую «возлюбленную» перед расставанием. В тот самый момент, когда он вошел в двенадцатую палату, раздался дикий вопль Бобо, пробившийся даже сквозь звукоизолирующую дверь.

Рыбкин остался безучастен. Он по-прежнему улыбался. Он сразу же понял: для кого-то кино закончилось. Его обострившаяся интуиция подсказывала ему, что этим утром все радикально изменилось. Он вступил в новую фазу существования.

На всякий случай Славик все же потрогал запястье «свинки» и ткнул пальцем ей под челюсть.

Пульса не было. Прекрасное тело начало коченеть. Тварь была мертва.

После этого он посетил последовательно оставшихся пятерых пациентов и *изменил* их всех.

\* \* \*

Вскоре на подземном этаже появился санитар дневной смены по кличке Моня. Рыбкин знал, каким будет первый вопрос. Ритуал сдачи дежурства почти не претерпевал изменений в течение многих лет.

— Как «свинка»? — спросил Моня.

— Сдохла, — коротко ответил Рыбкин.

Славик выглядел совершенно невозмутимым. Он все продумал. Он знал правильные ответы на любые, даже самые скользкие вопросы.

Он был готов к служебному расследованию.

\* \* \*

После окончания служебного расследования репутация санитара Рыбкина осталась незапятнанной, как крылья голубя мира. Он не получил даже выговора за халатность. Соня Гринберг была признана виновной в нарушении правил личной безопасности. Кстати, оказалось, что еще до того, как труп медсестры был обнаружен,